Любовь в седьмом вагоне

Автор:
Ольга Славникова

Любовь в седьмом вагоне

Ольга Александровна Славникова

Время читать женщин

Ольга Славникова – известный прозаик, эссеист, культуртрегер, автор романов «Прыжок в длину» (премия «Книга года»), «2017» (премия «Русский Букер»), «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Легкая голова».

«Любовь в седьмом вагоне» – сборник короткой прозы. Тут есть детектив, love-story, антиутопия и даже ужастик. Все рассказы объединены темой железной дороги – неиссякаемым источником сюжетов и характеров. Главное, говорит автор, будьте готовы заглянуть за пределы обыденности – неважно, читаете ли вы эту книгу, сидя дома в удобном кресле, или посматриваете в окно на убегающую платформу.

Ольга Славникова

Любовь в седьмом вагоне

© Славникова О.А.

© ООО «Издательство АСТ»

Русская пуля

На Казанском вокзале все выходы к поездам дальнего следования были перекрыты. Голубев предъявил паспорт желтоусому румяному милиционеру, у которого на груди, будто короб у коробейника, висел раскрытый ноутбук. На животе его напарника задирал хоботок похожий на злое железное насекомое пистолет-пулемет «Вереск».

– Пресса – первый вагон, – буркнул желтоусый, долистав файл до нужной фамилии и возвратив Голубеву документ громадной ручищей, затянутой в черную перчатку.

И вот он – сверхскоростной реактивный поезд «Россия», готовый через полчаса отправиться в свой первый исторический рейс Москва – Иркутск. «Русская пуля», как называли его во всех выпусках новостей. Голубеву приходилось и прежде видеть поезд-«пулю»: в Японии, в префектуре Яманаси. Тот был монорельсовый, на магнитной подвеске и напоминал иглу со многими ушками-окнами; он исчезал из виду, оставляя после себя даже не звук, а отзвук, тонкую вибрацию лопнувшего пространства. В отличие от японца, российский сверхскоростной собирался поставить рекорд на родном натруженном Транссибе. Непривычно короткий, обтекаемо-горбатый, он напоминал не поезд, а скорее субмарину, причем собравшуюся произвести запуск баллистических ракет: в головной его части, поднятые на металлических рогах, темнели две, еще холодные, сигары реактивного двигателя.

Зрелище было столь величественное, что казалось, будто большая часть этого сухопутного наутилуса осталась под землей, что сооружение всплыло из земляных российских толщ, где ему и положено ходить, распугивая ледниковые валуны. Поезд был точно покрыт горелой каменной коркой. Никакой нарядной хай-тековской зеркальности: «Россию» одевал зернистый темный полимер, способный создавать вокруг стремительно мчащегося тела тонкий, почти безвоздушный экран. Этот полимер и был главным ноу-хау сверхскоростного поезда: так сообщил на пресс-конференции директор НИИ железнодорожного транспорта, обширный вальяжный мужчина, похожий на чемпиона породы среди бульдогов, – явно ничего не смысливший в разработке, пришедшей из каких-то секретных военных лабораторий. И все-таки не верилось, что пять тысяч сто

девяносто два километра – расстояние по «железке» между Москвой и Иркутском – поезд покроет за каких-то шесть с половиной часов.

– Какой русский не любит быстрой езды! – раздался над ухом у Голубева сдобный басок.

Голубев обернулся и увидел своего заклятого друга Гошу Бухина. Толстый Гоша, принципиально небритый, был, как всегда, одет в измятый камуфляж и бархатную феску с кисточкой. Пригожее и сочное лицо сына турецкоподданного лучилось предвкушением приятной поездки. Неизвестно, какое СМИ представлял Бухин на поезде «Россия»: он менял места своей кипучей творческой деятельности с головокружительной быстротой, и любой другой на месте Гоши давно провалился бы в пропасть между дрейфующими медиа – но Гоша не проваливался.

«Все-таки пролез, зараза, на поезд», – с досадой подумал Голубев.

– Ты все-таки вписался в поездку, акула пера! – воскликнул Бухин, с силой хлопая Голубева по сутулой спине. – Вместе несемся в Иркутск? А там, говорят, такой банкет готовят! Губернаторский… – Бухин мечтательно прижмурил маслянистые глаза дивной красоты, в которых, однако, уже проступал белковыми узелками и кровавыми живчиками застарелый алкоголь.

Голубев поежился. На перроне, несмотря на прибывающую публику, было пустовато. Пустота была такая, что хотелось крикнуть. Окруженные плотной охраной, негромко беседовали между собой депутаты Государственной думы, с лицами бледными, как погашенные лампы; между ними выделялась искусственной живостью и бирюзовым костюмчиком единственная дама, представлявшая, кажется, правительство Москвы. Затесавшийся к важным персонам директор железнодорожного НИИ выглядел растерянным, его большие плоские щеки подрагивали, руки болтались, будто брошенные весла.

– А вот и Даша, радость наша! – воскликнул Бухин, раскрывая на весь перрон камуфляжные объятья. – Дашутка, сердце мое, иди скорей ко мне!

– Сань, привет, – поздоровалась с Голубевым Даша Пирогова, обозревательница «Телеграфа».

Вчерашняя практикантка, круглолицая и крутолобая девочка из Подмосковья, Даша очень старалась. Голубев, будучи раздолбаем и любителем пропустить на фуршетах рюмку-другую-третью, не раз обращался к Даше за упущенной информацией, и Даша всегда добросердечно давала списать. Поэтому Голубеву было неприятно смотреть, как Гоша по-хозяйски сгреб Дашуту за плечико и поцеловал сложенным в бутон усатым ртом. Даша стояла, тесно сдвинув ноги и принужденно улыбаясь.

«Вот так же он и с Кирой», – подумал Голубев яростно и бессильно. Не то чтобы между Кирой и Голубевым образовался роман, но к этому шло, и Голубев сходил с ума от молодого блеска длинных хитреньких глаз, от веселых кудряшек, способных, казалось, звенеть, как бубенцы. Но влез Бухин и так же по-хозяйски обнимал, и Кира уступила, по мнению Голубева, просто из вежливости, чтобы компенсировать хамскую суть ситуации, а потом исчезла, работает теперь, говорят, специалистом по связям с общественностью в Мосстройбанке. Что произошло? А ничего. Голубев сам дурак. И нечего ревновать Бухина к каждой его прохиндейской удаче и к каждой молоденькой журналисточке, которую Бухин дегустировал и галантно оставлял у какой-нибудь стенки, чтобы жизнерадостным шмелем перелететь на новый цветок.

– Что-то затягивают отправление, – сказала Даша неестественно высоким голоском.

– Нет, ты посмотри, что делают! – вскричал Бухин, разворачиваясь туда-сюда и держа свою жертву под мышкой. – Ковыряют обшивку поезда! Сувенирчика хотят, глянь!

Действительно, то и дело кто-нибудь из стоявших на перроне украдкой трогал шершавую шкуру «России». Обманчивая рыхлость вещества и правда провоцировала колупнуть, но многие рискнувшие тихонько посасывали пораненные пальцы. Какой-то старикан, похожий страшной худобой и выгоревшим пальтецом на огородное пугало, щупал костлявой пястью вагон, точно пальпировал живот больного.

– Да не выйдет у них ничего, – успокаивающе произнес Голубев.

– У них? Выйдет! – нервно хохотнул Бухин. – Это же Россия! Улавливаете метафору, коллеги? Сами ковыряют, и самим же лететь на этом поезде черт

знает с какими скоростями! Навернемся к матери! Ну, люди, ну, страна!

На Гошин клекочущий хохот старик, щупавший поезд, обернулся. Встретившись взглядом с его промерзлыми бесцветными глазами, Голубев подумал, что этого пугала должны бояться не только вороны. И Голубеву показалось, что под ветхой одеждой у старика не скелет, а крест.

– А почему у поезда такой странный нос? – завороженно спросила Даша, указывая на горизонтальный хищный рубильник, выступающий метров на семь перед скошенными стеклами кабины машинистов.

– Солнышко, это же Транссиб, – покровительственно произнес Бухин. – По нему дрезины ездят. Через него коров перегоняют. По нему товарняки ходят пешком. Сегодня, конечно, все грузовые и пассажирские на запасных путях. Но пять с лишним тысяч километров – кто проконтролирует? Думаешь, на скорости пятьсот в час так просто затормозить? Сбрасывать будем на хрен все, что вылезет на рельсы! Поняла?

– Ой, – Даша схватилась ладонью за щеку. Из-под пальцев у нее буквально на глазах пополз густой бархатный румянец.

И тут с шипением поднялись, будто хитиновые крылья, двери вагонов. Защелкали, зашелестели фотокамеры, обдавая холодными вспышками группу бледных политиков и директора НИИ, для чего-то гладившего себя по голове. Под сводом Казанского, вспугнув мерцающую тучу голубей, грянул марш.

* * *

Голубев давно интересовался поездами-«пулями». С тех пор как однажды, будучи по-командировочному беззаботен и пьяноват, увидел призрак.

Дело было под Тверью, на станции Дорошиха. Большой, еще советского замеса, вагоностроительный завод получил кредит, пригласили прессу, в том числе столичную, презентовать маловразумительный проект. Ничего толком не показали, зато накормили и напоили с размахом. Голубев, имея в сумке початую бутылку водки и кулек со слипшейся закуской, отделился от шумной гульбы, чтобы в блаженном одиночестве посидеть на весенней траве, помечтать какую-

нибудь радужную зыбкую мечту. Майское солнце припекало, как утюг, а пьяненький Голубев в поисках подходящего пригорка все шагал и шагал через нагретые рельсы, застелившие пространство шириной с хорошее речное русло. Под подошвами похрустывал шлак, маслянистый и горячий, как попкорн, порхали обтрепанные бабочки, между шпалами желтели мелкие сдобные цветочки. Вдруг Голубев споткнулся и поднял глаза.

На первый взгляд – самый обычный вагон. Вернее, металлолом, останки пригородной электрички. Ржавые язвы на рифленом вагонном боку, простецком, как стиральная доска. Двери и окна, забитые железным листом, кое-где – чудом сохранившиеся стекла, пересохшие и серые, будто старая копирка. А наверху, на голове вагона, – останки авиационного турбореактивного двигателя.

Голубев несколько раз обошел вокруг вагона-призрака. Турбореактивный двигатель, словно разбитый бинокль, слепо вглядывался вдаль. Обтекаемый нос вагона, созданный для высоких скоростей, провалился, будто у сифилитика. Железная трагедия молча кричала о себе, ржавые потеки казались засохшей кровью. Было что-то невыразимо странное, невыразимо неестественное в неподвижности этого поезда-самолета, навсегда прикипевшего к рельсам. Голубев так и этак пытался проникнуть внутрь и, пока подпрыгивал и лез, выпил всю водку. В поезде-самолете стояла густая темнота, и воздух там был на десятилетия старше того, которым Голубев дышал снаружи. Забраться в задраенную руину не удалось, но Голубеву показалось, будто он расслышал внутри какой-то гул, взволнованные человеческие голоса.

Вернувшись в Москву, Голубев выяснил, что поезд-призрак ему не померещился. Он видел так называемый СВЛ – скоростной вагон-лабораторию, созданный в 1970-м на том самом Калининском вагоностроительном заводе, где теперь ни один сотрудник управления не мог растолковать, что за странная штука ржавеет у них на дальних путях. В начале семидесятых СВЛ, снабженный турбореактивным двигателем от самолета Як-40, испытывали на участке дороги Новомосковск – Днепродзержинск. Достигли скорости почти 250 километров в час, после чего по необъяснимым причинам бросили техническое чудо на задворках завода-производителя.

Сверхскоростные поезда заворожили Голубева, завладели его воображением. Ему казалось, что сверхскорость прямо на земле, в гуще обычной медлительной жизни, гораздо ярче нарушает порядок вещей, чем гражданская авиация и даже полеты в космос. Сверхскоростной поезд представлялся ему ниткой, резко

выдернутой из ткани мироздания. Голубев думал о том, что поезд-«пуля» сродни высокому безумию, потому что управлять им при помощи человеческого разума не представляется возможным. Конечно, собственно поезд может быть управляем электронным автопилотом. Но какой компьютер способен контролировать все передвижения наземных объектов, для которых траектория «пули» – всего лишь рельсы да шпалы, повседневная материальность, привычная часть освоенного пейзажа?

Голубеву почему-то очень нравилась лихая история испытаний турбореактивного локомотива в Восточном Огайо в 1966-м. Пилот Дон Уэтцель после вспоминал, что локомотив, как живой, все время пытался набрать скорость выше допустимой – при том что несся с раздирающим ревом по самым обыкновенным железнодорожным путям. Чтобы предотвратить вполне вероятную катастрофу, в воздух подняли самолет – тихоходный винтовой, едва поспевавший за своевольным локомотивом, похожим сверху на спичку, чиркающую по коробку. Вдруг с самолета на рельсах заметили нечто постороннее. Что именно – разглядеть не удавалось. Через несколько секунд – вероятно, стоивших Дону Уэтцелю нескольких лет жизни – под колесами раздался треск, брызнула щепа. Оказалось, что дети положили на рельсы, для собственного развлечения, кусок фанеры. Счастье, что не притащили что-нибудь покрепче и потяжелей.

Получалось, что в управление поездом-«пулей» входил контроль над всей реальностью: над неисчислимыми траекториями, причинно-следственными связями. Ну, допустим, штат Огайо, как и другие североамериканские штаты, как страны Европы, где летает на непревзойденных пока скоростях французский TGV, – они на ладони Господа Бога и управляемы хотя бы Его всевидящей волей. Что касается России, то она всегда представлялась Голубеву территорией, имеющей дополнительное измерение – глубину. Россия была подобна огромному земляному океану, она казалась Атлантидой, тонущей вот уже многие столетия. Кто же способен вручную управлять половиной России в течение четверти суток, пока сверхскоростная «Россия» достигнет Иркутска?

Глубоко вздохнув и перекрестившись, Голубев шагнул в дезодорированный душноватый вагон.

* * *

Внутри вагон представлял собой подобие салона самолета: нечто среднее между эконом- и бизнес-классом. Пресса шумно размещалась в пухлых новеньких креслах, укладывала аппаратуру в раскрытые над головами багажные боксы. Бухин, не выпуская Дашуту, загнал ее к окошку, сам плюхнулся рядом, отдуваясь и высасывая досуха, до щелчка втянувшейся пластмассы, бутылку минералки. Голубев скромно устроился за ними, в глубине души надеясь, что соседнее кресло останется свободным и ему удастся в одиночестве вкусить переживания, которые готовит день.

– Господа журналисты, пожалуйста, садитесь плотнее, к вам в вагон переводится несколько коммерческих пассажиров, – объявила длинная, затянутая в идеально сшитую синюю форму проводница-стюардесса.

Голубев замер в неприятном предчувствии.

– Вы позволите? – проскрипел над Голубевым рассохшийся деревянный голосок. Давешний щупавший поезд старикан кивнул самому себе лысой, как гриб, головой и в несколько трудных приемов устроился в кресле, связав пятнистые пальцы на запахнутом пальтишке.

Голубев знал, что часть билетов на «Россию» продавалась с аукциона и цена лота доходила до четырехсот тридцати тысяч рублей. Старикан, от которого пахло, как из пронафталиненного платяного шкафа, совершенно не напоминал состоятельного авантюриста, способного выложить за престижное приключение круглую сумму. Однако теперь и без того небольшое вагонное окно не принадлежало Голубеву целиком. Старикан, поерзав, растопырил кости и жадно уставился в глухой, с двойными стеклами, иллюминатор, за которым не было покамест ничего, кроме куска перрона с растертым окурком.

– Пожалуйста, пристегните ремни безопасности, – нежно произнесла стюардесса словно бы в мозгу у давно пристегнутого Голубева. – Наш поезд отправляется, время в пути – шесть часов двадцать минут. Вставать не разрешается до полного набора скорости. Курить не разрешается до конца поездки, спасибо.

Сперва тронулись полегоньку. Москва в иллюминаторе проходила далекая, как кинохроника в обратной перемотке. Потом по пейзажу будто мазнули мокрой кистью, и на Голубева навалилась тяжесть: точно большая, настойчивая, жадная женщина припала к нему, и Голубев, с эрекцией в штанах, выпучился на табло,

где ползли, отливая розовым, нарастающие цифры: 250 км/час… 410 км/час… 590 км/час…

– Шестьсот девяносто пять! – придушенно просипел старикан.

И сразу, словно после крика утреннего петуха, колдовская тяжесть исчезла. Голубев оторвал от подголовника онемевший затылок, ощущаемый как полная иголок ватная подушечка. Кругом вставали, шатаясь, коллеги-журналисты, многие вытирали мокрые глаза. В проходе между креслами выстроилась очередь в туалет. Гоша, расстегнув ремень безопасности и нижнюю пуговицу мятой камуфляжной рубахи, вкусно хрустел луковыми чипсами, пихая разодранный кулек безвольной Дашуте. Феска сына турецкоподданного гордо алела на его могучем согнутом колене, небритый второй подбородок напоминал свернувшегося ежа.

Многое было странным при наземной скорости под семьсот километров в час. Казалось бы, по законам физики при отсутствии ускорения не должно происходить ничего особенного – но законы физики действуют не всегда. Безалкогольные напитки, разносимые длинной стюардессой, моргали и были на вид как желе; табачный дымок (журналюги, само собой, курили в туалете, натянув на индикатор презерватив) держался в воздухе необыкновенно долго и медленно, причудливо слоился, будто трехмерная компьютерная графика. Все лица были бледны, точно их вывернули наизнанку. Хождения по вагону как-то быстро прекратились. Из передних кресел до Голубева доносилось принужденное хихиканье Дашуты, мурчание Гоши, треск вспарываемых пакетов еще с какой-то едой. Сильно мешал старикан, буквально положивший твердую челюсть Голубеву на плечо.

Старикану, как и Голубеву, хотелось глядеть в иллюминатор. За иллюминатором хлестала, точно из шланга, перешедшая в неизвестное агрегатное состояние зеленая, серая, рыжая, блескучая Россия. Ничего нельзя было различить в перебегании неровных полос, по которым то и дело скорый витиеватый почерк выписывал строку (вероятно, населенный пункт), а то принимались выскакивать как бы мелкие острые гвозди, происхождение которых было и вовсе не известно. Только линия горизонта иногда держалась несколько минут – недостоверная, будто край далекого облака, будто пар, исчезающий во мгле. Несмотря на солнечный день (метеобюро любезно спрогнозировало замечательную погоду на всем пути следования «России»), Голубеву казалось, что снаружи наступает ночь.

– Позвольте представиться, – вдруг просипел над самым ухом Голубева надоедливый старикан. – Бибиков Кирилл Касьянович, – и, моргнув промороженными голыми глазами, он въехал костяной ладонью Голубеву под мышку.

– Голубев Александр Николаевич, – нехотя ответил Голубев, пожимая неживые пальцы, холодные, каким бывает градусник при температуре тридцать девять и шесть.

«Бред, а не старик», – подумал он про себя. Голубев знал за собой особенность, крайне некомфортную для окружающих: его постоянное стремление отделиться, уйти в себя почему-то напрягало людей, его начинали тормошить, втягивать в любой ничтожный разговор. Вот и этот, как его, Бибиков будет теперь, вероятно, развлекать соседа своим скрипением до самого Иркутска.

– Вот вы наверняка задаетесь вопросом, уважаемый, – прищурился старик, собрав сухую кожу у глаз. – А откуда у древней развалины деньги на коммерческий билет?

– Нет, ну что вы, – смутился Голубев, именно это и думавший.

– От жены моей, Анны Владимировны, остались украшения, – заговорщически пояснил старикан. – Старой еще работы вещи, с камнями высокой чистоты. Вот их-то я и продал. Спустил! – объявил он восторженным фальцетом, взмахом угловатой ручищи едва не угодив Голубеву в висок.

– Но зачем же? Вам бы деньги пригодились, разве нет? – спросил заинтригованный Голубев, поневоле втягиваясь в беседу.

– Это давняя история, молодой человек. Очень давняя… – Бибиков откинулся в кресле, и Голубев увидел, что под распахнувшимся пальтецом у него чернеет ветхий смокинг со следом утюга на лацкане, похожим на синяк. – В тридцать третьем году было дело… В парке Горького пустили аэропоезд. Двойная гондола на воздушных винтах. Летала по эстакаде со скоростью немыслимой! Изобретение Вальднера Севастьяна Севастьяновича. Тогда тому изобретению не было подобных в мире…

– Треугольник устойчивости Вальднера, – пробормотал пораженный Голубев.

– Слышали, молодой человек! – обрадовался старик. – Мне тогда пятнадцать лет было, я все хорошо помню. Меня отец в гондоле катал, хотя это была только модель. Он работал в специальной группе при Наркомате путей сообщения. Севастьян Севастьянович его ценил… И Туполев Андрей Николаевич тоже там работал. Называлось «Бюро аэропоезда Вальднера». Начинали проектировать пятисоткилометровую трассу в Туркестане…

– А потом? – взбодрил замедлившего речь старикана взволнованный Голубев. Встретить пассажира того легендарного аэропоезда было все равно что столкнуться с динозавром.

– А потом бюро закрыли без объяснения причин, – тускло проговорил старик, опуская голову и будто проваливаясь сам в себя, как в яму, своими громадными костями. – Причины, впрочем, воспоследовали. Отцу дали двадцать пять без права переписки. Я тоже потом отсидел по той, отцовской, статье, поменьше, правда… Хотя кто знает, сколько из тех двадцати пяти отец оставался в живых? Упокой, Господи… – Бибиков неуклюже перекрестился и вдруг посветлел: – Ах, какой снег валил зимой тридцать третьего в Москве! Трамваи стояли, замело. А наш аэропоезд взбивал винтами снег, как пух… Отец говорил, что наша модель похожа на летучее семечко, что в нем семена будущего…

Помолчали. Старик улыбался, показывая бело-розовую, сделанную из какой-то кукольной пластмассы вставную челюсть. Голубев думал: как странно встретить человека с такой же, как у тебя самого, тайной мечтой – и в таких преклонных летах, что кажется, будто собственная жизнь внезапно сжалась и почти закончилась.

– Почему все так? – спросил он совершенно по-детски, надеясь, что старик, которому он по годам годится во внуки, поймет.

– Знаю только, что могло быть по-другому. Могло, – убежденно ответил старый Бибиков, дыша со свистом. – Откуда знаю, и сам не пойму. Я очень долго живу, молодой человек. Так долго, будто уже раз пять умер. Иногда вижу сквозь жизнь, будто сквозь стекло. Вижу: вот здесь развилка, вот здесь… Могло не быть войны… И скоростные поезда давно должны были войти в повседневность… Мы в России сильно зависим от чуда: случится, не случится… Оно тут ходит близко,

слишком близко для нормальной жизни, водится, так сказать, в нашем водоеме. Сделать с этим ничего нельзя.

И тогда Голубев задал вопрос, который мучительно волновал его с того самого момента, когда «Россия» отчалила от Казанского вокзала:

– Как вы полагаете, Кирилл Касьянович, доедем мы сегодня до Иркутска?

– Не могу точно сказать, Александр Николаевич, – очень серьезно и уважительно проговорил Бибиков, глядя Голубеву в лицо своими голыми глазами вымороженной синевы. – Но сдается мне, что не доедем.

И сразу вслед за этими его словами раздался первый удар.

* * *

Удар был тупой и болезненный, будто пинок по мешку с песком. Разинулся багажный бокс, вывалив куртку.

– Что? Что это было? – зашумели журналисты, привставая с мест.

– Я же говорил, корова на путях! – выкрикнул Бухин, перекрывая гам. – Дашуль, ты чего? Давай отдыхать, ерунда все это…

– А если не корова? – выкрикнула Даша с какой-то внезапной отчаянной злобой. – Да отстань ты от меня, не трогай, не лезь!

– Уважаемые пассажиры, пожалуйста, сохраняйте спокойствие, – набежал ласковой волной голос стюардессы из динамика. – Мы постоянно получаем данные по трассе с нескольких спутников. Наш поезд движется строго по графику. Через полчаса вам будет предложен горячий ланч.

Но через полчаса всем стало не до ланча. Видимо, закончился участок Транссиба, подготовленный и вылизанный для движения сверхскоростного. Удары следовали один за другим, нехорошей вибрацией отдаваясь в позвоночнике. Теперь сверхскоростной рубил Россию, будто топор мясо. За

окном – или это так казалось? – пролетали мокрые ошметки. Журналисты курили, уже не скрываясь, странный стоячий воздух вагона был заплетен, будто призрачным кружевом, синими нитками табачного дыма. Многие безуспешно терзали мобильники. Вагон мотало, синие плафоны на потолке мерцали, как молнии в грозу.

Казалось, что поезд-топор вот-вот вонзится в кость.

– Мы ничего не знаем, что происходит снаружи на такой скорости, – пробормотал старик, вцепившись жилистыми птичьими лапами в подлокотники кресла.

«Точно, – думал Голубев, чувствуя сердце под рубахой. – Действительно, пуля. Пуля-дура. Мы, начинка выпущенной пули, уже никак не связаны с действительностью. В кого попадем, останемся ли сами целы – ничто от нас уже не зависит…»

– Прекрати, надоел, у меня муж есть, между прочим! – услышал он из переднего кресла истерический Дашин голосок.

– Ах му-уж, – обиженно протянул невидимый Бухин, и спинка его кресла, наполнившись, заскрежетала. – Где у тебя раньше был этот муж, интересно? Муж появляется на сцене, если девушка хочет динаму крутить. Ты меня, что ли, продинамить решила, коза?

Даша всхлипнула. Голубев, скривившись, встал. Старый Бибиков понимающе мигнул и сдвинул в сторону шишковатые колени, давая Голубеву проход. В это время длинная стюардесса, ни на кого не глядя, быстро проюлила в кабину машинистов. Тут же она и еще другая, постарше, с лицом как сладкий сухофрукт, так же быстро, чуть перебегая на ходу, проследовали мимо вылезающего Голубева во второй вагон, где закупоренно и замкнуто ехали политики.

– А мы-то в первом, коллеги, – озвучил кто-то сзади общие мысли. – Если что, мы первые всмятку…

И тут до Гоши Бухина, поднимающего навстречу Голубеву разгоряченное невинное лицо, дошла вся опасность положения. Сразу же его глаза дивной красоты сделались как у совы, разбуженной в полдень. Снова ударило, прошло

по шкуре поезда крепким морозом. У Голубева екнуло в животе, сверху, из раскрытого бокса, на него и на Гошу посыпались батарейки, брошюры, выпали, свесившись, крученые провода.

– Господа, Гоше Бухину плохо! – крикнула за спиной у Голубева какая-то женщина, кажется, из «Московских новостей».

И действительно, словно кто акварельной кистью быстро-быстро прошел по надувшейся Гошиной морде, смывая румянец. Глаза его закатились, тело безвольно обмякло, развалив большие ноги в новеньких кроссовках. Увидав все это, Голубев сам заорал что было мочи:

– Человеку плохо!

В мерцающей полутьме безумного вагона журналисты полезли друг на друга, окружили простертого Гошу плотным кольцом.

– Пропустите, я врач! – послышался за спинами журналистов резкий старческий скрип.

* * *

– В сторону, в сторону! На места все садитесь! – Голубев, как мог, теснил упиравшихся коллег, давая старому Бибикову возможность пробиться к пациенту.

Освободившись от огородного пальто, долговязый скелет в смокинге, в котором еле-еле теплилась, блуждая по тряпичным сосудам, капелька собственной жизни, склонился над больным. На лбу у Гоши проступил холодный пот, легкие кудряшки слиплись. Бибиков профессиональным движением нащупал на пухлом запястье бьющуюся нитку, приподнял веко: рыжий глаз вытаращился с веселым ужасом, отливая стеклом.

– Аптечку! Лекарства все, какие есть! – каркнул Бибиков, едва не падая в проход.

Ему уже передавали через головы от бледной, как известь, стюардессы коробку с красным крестом. Расшвыряв нарядные, как бы конфетные упаковки, Бибиков вылущил из простенькой бумажки мелкую таблетку, затолкал ее в усатый мягкий рот указательным пальцем.

– Остановите поезд в ближайшем населенном пункте, – сипло распоряжался он, сдирая пластик со шприца. – У больного шок, скорее всего, обширный инфаркт. Свяжитесь с местной клиникой, машину реанимации прямо на перрон!

– Но… Знаете, мы не можем… – стюардесса пятилась, пытаясь исчезнуть в темноте.

– Начальство зови, дура!!! – заорал на нее неузнаваемый Голубев, топая ногой.

Стюардесса, схватившись за прическу, убежала. Бибиков сосредоточенно тянул из ампулы в шприц упиравшееся студенистое лекарство. Заплаканная Даша, с глазами как у лемура, прижимала к подлокотнику вялую Гошину руку в разодранном рукаве. Бибиков, буквально только что едва не рассыпавшийся от толчков вагона на отдельные кости, вдруг сделался злым и точным, как оса, и вонзил иглу аккуратно в вену больного, едва голубевшую. Лекарство пошло, веки больного задрожали и увлажнились.

– Что тут у вас, отец?

Над Бибиковым возвышался плечистый мужчина в строгом костюме, со стальными глазками, напоминавшими шурупы, вкрученные глубоко и крепко, но с нарушением резьбы. Судя по костюму и короткой стрижке, плотно облегавшей череп, мужчина был из тех, кто охранял депутатов на перроне Казанского вокзала.

– А, так тут у нас пьяный, – заключил мужчина, посмотрев неправильно вкрученными глазками на Бухина, завозившего ногой.

– Инфаркт миокарда на фоне стенокардии, возможно, на фоне высокого сахара, – проскрипел старый Бибиков, с трудом распрямляясь. – Будьте благонадежны, я хороший диагност.

– Да ты, отец, диплом свой получал при царе Горохе, – благодушно произнес мужчина, что-то катая во рту. – Не волнуйся, через три часа уже Иркутск. Там нашего больного осмотрят, протрезвят. Надо будет – составят протокол…

– Не довезем, гражданин начальник! – захрипел старик, как-то по-лагерному, по-собачьи глядя снизу вверх на громадного охранника. – Я не могу купировать приступ!

– Отец, не скандаль, – проговорил мужчина, делаясь строгим. – До Иркутска тихо посиди, просьба к тебе такая от всех. Ты даже не представляешь, у кого на контроле наш сверхскоростной рейс. Въехал? Вот так-то, – с этими словами мужчина повернулся и авторитетным шагом двинулся в сторону депутатского вагона.

– У вас там что, товарищ Сталин на проводе?!! – выхаркнул старик в плотную спину охранника, потрясая шишковатым кулаком с зажатым в нем одноразовым шприцем.

В ответ охранник, не оборачиваясь, только повел одним квадратным плечом. Захлопнулась дверь. Журналисты, с лицами как мерцающие пятна, молча глядели на старого Бибикова, у которого на голом черепе встали дыбом, будто только что выросли, редкие прозрачные волосины. Все дрожало в вагоне, за спиной у Даши, на иллюминаторе, трепетала и ползла, сдираемая скоростью, какая-то бурая клякса. И тогда Бибиков, задрав полумертвое лицо к электрическому грозовому потолку, выкрикнул режущим фальцетом, точно сдавленная со страшной силой игрушка-пикулька:

– Чуда! Господи, чуда!

Дернуло. Повалило вперед. На табло словно бы нехотя выползла цифра «650 км/час» и сразу следом за ней – «600».

Поезд тормозил. Он тормозил тяжело и страшно, будто зарывался, погружался каменной субмариной в земляную толщу. От многотонного скрежета закладывало уши. Журналисты, хватаясь друг за друга, спотыкаясь о разбросанные вещи, полезли к креслам. Даша, всхлипывая и подвывая, пристегивала тяжеленного, сползающего на пол Бухина. Голубев уволок на место негнущегося Бибикова, обеими неверными руками заправлявшего в

распяленный рот искусственную челюсть.

Если бы кто-то, хотя бы тот же Голубев, мог наблюдать за торможением с малой самолетной высоты, он бы увидел, что на путях, лоб в лоб растущему вдали, будто сунутая в воду чадная головешка, локомотиву «Россия», стоит изоржавленный короткий поезд с останками самолетных турбин на голове. Поезд был безжизнен и глух, только фыркали мелкие острые птахи, вероятно, свившие в левой турбине гнездо. Неизвестно как оказавшийся здесь, этот поезд был, однако, более реален, чем подползавшая к нему, как к зеркалу, слоившаяся в мареве нагретого воздуха, шипящая зернистой шкурой раскаленная махина. Локомотив «Россия», едва не выгибаясь гусеницей, гасил остатки скорости, страшный рубильник его, с какими-то прикипевшими ошметками, точно на кухонной посуде, уже практически въехал в провалившийся нос локомотива-близнеца. Время, разделявшее два чудо-проекта, сжалось до последнего предела, выгнулось зыбкой, слоистой воздушной линзой и медленно исчезло. Пышущая «Россия» замерла в сорока сантиметрах от катастрофы.

Тотчас поднялись – не то по команде машинистов, не то сами по себе – толстые, жаркие, как горелые лепешки, двери вагонов. Голубев, тронув за плечо пластмассово и криво осклабленного Бибикова, поковылял смотреть. Из наружного солнечного мира на него напахнуло живым, настоянным на хвое смолистым воздухом, щебетом птиц. Прыгать из вагона было высоко, ярко-синий гравий внизу, словно смерзшийся от обилия света, был покрыт ледяными пятнами – вероятно, игравшими в ослепленных голубевских глазах.

Проморгавшись, Голубев осмотрелся. Прямо против него, сверкая сложной, слоистой, точно солью посыпанной кладкой, поднималась скала. Наверху, среди тугих, словно образованных пушечными выстрелами кучевых облаков мотались густые и рваные сосновые шапки, за скалой проглядывало озеро, перетянутое посередине полосой живого серебра.

– Урал, – произнес кто-то завороженный за голубевской спиной.

Голубев кивнул и спрыгнул, подняв белесую каменную пыль. Вдоль горячей «России», с хрустом втыкая ботинки в сахарный гравий, торопился низенький мужчина в превосходном сером костюме, со скептической миной на круглом вспотевшем лице.

– В этом вагоне врач? – закричал он наверх.

Сощуренного Бибикова вывели под руки.

– На связи медицинский вертолет, говорите! – проорал мужчина, вскидывая в толстой руке усатую рацию.

Бибиков цапнул черную коробочку, заткнул одно обомшелое ухо прямым, как карандаш, указательным пальцем и принялся неразборчиво каркать, повернувшись к Голубеву спиной. Голубев глубоко вздохнул. Он еще не видел на путях ржавую причину остановки, которую уже вовсю снимали и фотографировали расторопные коллеги. В густой небесной синеве нарастал, заполняя пространство, шум вертолетных винтов.

Норковая шапка В.И. Падерина

Это только по календарю было начало весны. После сырого февраля вдруг ударил мороз, превративший тощие серые сугробы в покореженное железо, да и в Москве, куда Виктор Иванович Падерин отбывал в командировку, температура опустилась ниже минус двадцати. В глухом бессолнечном воздухе сверкали металлические искры, у закутанных цветочных торговцев, все-таки вылезших на привокзальную площадь по случаю 8 Марта, целлофановые кульки с товаром были белы как сосульки. «Хорошенький праздник», – думал Виктор Иванович, пытаясь на бегу опустить заскорузлые уши старой норковой шапки. По морозу его неновый автомобиль – когда-то престижный и продвинутый «ниссан» – категорически отказался заводиться, и Виктор Иванович опаздывал.

Было неприятно и странно провести всеобщий праздник в вагоне – хотя, с другой стороны, какое отношение имеет Международный женский день к совершенно свободному мужчине? То есть у Виктора Ивановича имелась супруга, целиком занятая борьбой со старением, превратившая при помощи кремов свое осевшее лицо в нежный гладенький блинчик и не обращавшая на мужа ровно никакого внимания. Имелась и дочь, очень похожая на мать в молодости, жившая как раз в Москве и на известие о приезде отца хладнокровно сообщившая, что как раз на эти дни улетает в Милан. Имелись, конечно, и левые женщины, относившиеся к Виктору Ивановичу в лучшем случае как к

приблудному псу, которого подкармливают, но миску выносят за дверь. В общем, никто не нуждался сегодня в поздравлениях утекающего из города господина Падерина, а сам он и подавно не хотел никого поздравлять.

Прекрасный пол отталкивала неуспешность Виктора Ивановича. Господин Падерин, к несчастью, завис между пространством относительно благополучным, где действовали люди, именуемые бизнесменами, и так называемыми социальными низами, к которым относилось большинство населения страны. Это было особенное свойство Виктора Ивановича – зависать между небом и землей, что проявлялось еще на школьных уроках физкультуры, когда Падерин, выполняя упражнение на снаряде, мог застрять в нелепой растопыренной позе, не понимая, где у него руки и ноги, не сознавая, за что именно держится потной отчаянной хваткой, – так что приходилось его снимать, буквально отрывать от снаряда по частям. Теперь, во взрослой жизни, спешить на помощь было некому. Дамы меньше всего изъявляли готовность поддержать неудачника, словно видели на нем печать с истекшим сроком годности. При этом Виктор Иванович был довольно-таки красив: крепок, татароват, густобров, об острые скулы его, когда он забывал побриться, можно было затачивать ножи. Как многие свободные мужчины, Виктор Иванович был специфически чистоплотен: пятна на его одежде, которые он не умел вывести без женской помощи, были стерильны от прожарки утюгом, старая, когда-то хорошая обувь, дизайном напоминавшая советские автомобили «Волга», блестела при каждом шаге. Норковую шапку, прежде чем надеть сегодня утром, Виктор Иванович почистил манной крупой.

Когда-то эта шапка была дорогой, богатой, холеной и придавала Виктору Ивановичу ту чиновную значительность, по которой распознавалось среди прочего населения провинциальное начальство. Если бы Виктор Иванович двигался по жизни ровно, благоденствовал помалу – возможно, не было бы на нем столь явственной печати неудачника. Но в тридцать с небольшим товарищ Падерин В.И. уже занимал немалый пост в Управлении N-ской железной дороги; кабинет его украшала малиновая ковровая дорожка, в приемной щелкала на пишущей машинке похожая на белку верная секретарша. Были, были баснословные времена, когда пировали после работы, съедая невероятное количество икры и балыков, когда на праздники получали, как брошки, трудовые орденки. Виктор Иванович, правда, не успел стать орденоносцем. Единственный наградной предмет, доставшийся ему, был именной вагонный ключ, так называемая трехгранка, сделанная, конечно, не из железа, а из

экспериментального сплава, куда в высоком проценте входили родий и палладий – благородные металлы дороже золота. Такие ключи торжественно вручили к юбилею дороги всему руководящему составу, и Виктор Иванович хранил реликвию, всегда брал ее с собой в железнодорожные поездки. Ключ не только мог пригодиться как удостоверение принадлежности Виктора Ивановича к железнодорожной элите, но и в случае чего отпирал закрытый проводницей туалет.

Эпизод, с которого началось движение товарища Падерина по наклонной вниз, относился к концу прекрасных времен, которыми Виктор Иванович не успел насладиться. Накатывал девяносто второй, предновогодней новостью была грядущая либерализация цен, простой народ метался по магазинам, расхватывая грубые пачки поваренной соли и похожих на крупных насекомых суповых цыплят. Руководство дороги, будучи народом непростым, организовало вывоз остатков продовольствия со склада железнодорожного ОРСа с дележкой на одиннадцать семей.

Чтобы не привлекать внимания сограждан, операцию проводили ночью. Луна пылала в стеклянисто-черном небе, будто пятно пустоты, телебашня под ней напоминала гигантскую железную новогоднюю елку, обвитую красными огоньками. Перед закуржавевшими складскими воротами одиннадцать теплых автомобилей – все «Волги» и новенькие «Лады» – тихонько урчали моторами, испуская алые и розовые, подсвеченные габаритами адские дымы. Неузнаваемое начальство переговаривалось шепотом, вздрагивая от храпа собственных шагов и шарахаясь от своих водителей; в сплетении черных древесных теней им чудился охреневший от ельцинской свободы народный контроль. Внутри, при конспиративном тусклом электричестве, счетом делили сухие колбасные палки, вынося их, как охапки дров, и сваливая в багажники; разобрали, с треском мерзлого целлофана, каменные глыбины говяжьей вырезки, разметали на одиннадцать сторон тушенку и рыбные консервы. Загвоздка вышла с шоколадными конфетами, наполнявшими пять больших, ленивых от собственного веса картонных коробов. Снаружи предательски светало; разделить конфеты поштучно или горстями не представлялось возможным. «Снимай, Витя, поскорее шапку», – скомандовал кто-то из замерзших до селедочной синевы чиновных стариков. Этой шапкой начальник финансовой службы, ответственный мужчина с глазом-алмазом, и вычерпал короба, ровно утряхивая в мерном норковом ковшике нарядные сласти, – пока непокрытая голова товарища Падерина превращалась от холода в тугой и бесчувственный резиновый мяч. Шапку Виктору Ивановичу вернули незапачканную, даже как-то самодовольно похорошевшую, упоительно пахнувшую свежим шоколадом.

Разъехались, наскоро простившись в белом свете каленого утра, осторожно ныряя гружеными автомобилями в дымную метель.

С тех пор норковая шапка поизносилась и подвытерлась, однако шоколадный запах не выветрился. В шкафу, где она хранилась, стоял неистребимый конфетный дух, с которым ничего не мог поделать даже самый злой нафталин. Теперь Виктор Иванович надевал свою шапку редко, только в самые сильные холода. Удивительно, но мороз, выжигавший любые запахи, кроме характерного для N-ска запаха железной окалины, только усиливал шоколадные ароматы, от которых рот наполнялся слюной. Запах становился особенно одуряющим, если Виктор Иванович, будучи в шапке, о чем-то напряженно думал или куда-нибудь сильно спешил. Вот и сейчас, пробегая под розовеющей подагрическим морозным румянцем аркой старого вокзала, господин Падерин благоухал, как целая кондитерская фабрика.

Фирменный поезд стоял на первом пути, полосатые красно-бело-коричневые вагоны серебрились, будто гигантские конфеты в одинаковых фантиках. Билет у господина Падерина был не в спальный вагон, как в прежние времена, а в обычный купейный. Рослая проводница, равнодушная, будто заиндевелый рулон коричневого сукна, проверила у Виктора Ивановича проездные документы.

Виктор Иванович надеялся, что восьмого марта вагон пойдет полупустым. Он полагал, что женщин в нем не будет вообще: что им, в самом деле, ехать куда-то, когда надо собирать подарки и всячески вампирствовать? Однако в сумраке купе, которое Виктор Иванович отворил по-хозяйски, с размаху, уже сидели две представительницы прекрасного пола: одна – сухая, рыжая, с бороздами вдоль щек и ярко-малиновым ртом, другая – молоденькая, маленькая, смотревшая припухшими мутными глазищами куда-то в самый темный угол. Пока Виктор Иванович неловко здоровался, ввалилась и третья – громадная, в обледенелых черно-бурых лисах, в забелевших с мороза очках, похожих на две столовые ложки молока.

– С праздником, уважаемые, – произнес господин Падерин подобострастным голосом, который всегда появлялся у него при численном преобладании слабого пола.

– Вас также, – неприязненно ответила рыжая, доставая из сумки потрепанный том.

Но напрасно Виктор Иванович понадеялся, что соседки, попив на дорогу чаю, устроятся читать или уснут. Женщины праздновали. Лежа на верхней полке, Виктор Иванович чувствовал себя в ловушке. Маленький вагонный столик был завален холодной дорожной снедью, полуобглоданными куриными костями, использованными чайными пакетиками, напускавшими на пластик рыжие лужи. Дамы, как видно, решили оторваться по полной, не утруждая себя в Международный женский день ни малейшей уборкой. Они хихикали, хвастали, громко стукались белыми чашками с красным вином, напоминавшим сверху раствор марганцовки. Две старшие подначивали младшую, все время сжимавшую в руке мобильник, позвонить какому-то Диме самой и высказать все.

– Я вот всё сказала своему вчера, – сообщала здоровенная очкариха, переодевшаяся в махровый халат с клочковатыми пионами. – Пусть теперь сидит, думает. Привык, что у него жена хорошая. А я вот сделаю в Москве на все деньги грандиозный шопинг, пускай сидит тоскует.

– От мужчины должна быть польза, – внушала рыжая девчушке, но больше себе самой. – Если пользы нет, какие отношения? Ну какие, скажи ты мне ради бога?! Это же бред какой-то получается… Можно подумать, я его люблю!

Застолье тянулось вот уже несколько часов. Время от времени в купе заходила проводница, ее высокая прическа, напоминавшая набитый сеном полиэтиленовый пакет, проплывала у самого лица притаившегося Падерина. Проводница убирала со стола намокший мусор, невозмутимо получала от очкарихи полтинник, сонно произносила: «Девочки, только не курите в купе». Курить беспредельщицы бегали в нерабочий тамбур и возвращались, дружно благоухая табачищем.

Но ни табачный дух, ни распространяемый проводницей запах парикмахерского лака не могли заглушить шоколадные ароматы, исходившие от шапки. То одна, то другая соседка поводила носом, дамы переглядывались и обращали насмешливые лица в сторону единственного мужчины на своем законном празднике. Шоколадный запах был настолько явственным и сильным, что у дам не могло оставаться сомнений: сосед везет полную сумку свежайших шоколадных ассорти, но жалеет коробки поздравить соседок по купе. «Вот попал», – тоскливо думал Виктор Иванович, пытаясь завернуться с головой в

узенькую вагонную простыню. Нечего говорить, что у него не имелось при себе ни единой конфетки, не было вообще ничего, чтобы бросить раскрасневшимся хищницам. У человека успешного, думал Виктор Иванович, всегда найдется что-то при себе, что годится в качестве подарка. Вот чем отличается успешный человек от неудачника в каждую данную минуту своей счастливой жизни.

– Мужчина, не хотите с нами покушать? – время от времени спрашивала очкастая льстивым голосом сказочного волка. Ноздри ее большого бесформенного носа шевелились и горели малиновым огнем.

На это Виктор Иванович делал вид, что спит, – хотя здоровый сон при хохоте и резких голосах, сопровождавших пьянку, был так же неправдоподобен, как отсутствие шоколада в купе, пахнувшем будто кондитерский цех.

Делая вид, что спит, даже похрапывая для маскировки, Виктор Иванович думал свои невеселые мысли. За окном проносилась совершенно зимняя солнечная белизна, мелькали обсахаренные городки, высокие лиловые березы серебрились, будто тончайшая гравировка на металле; время от времени солнечная искра, попадая в глаз, выжигала слезу. Далеко не сразу после эпизода на ОРСовском складе Виктор Иванович Падерин оказался в нынешнем своем положении. Некоторое время даже казалось, будто начался серьезный подъем. При N-ской дороге регистрировались ОАО и ЗАО, Виктор Иванович тоже сделался солидным хозяйствующим субъектом. Ему принадлежало, помимо прочего, несколько незарегистрированных вагонов-рефрижераторов: эти рефрижераторы-призраки, пузырьками воздуха блуждая по российским железнодорожным артериям, приносили Виктору Ивановичу весьма реальные деньги.

Но вскоре на N-ской дороге сменилась руководящая команда, подставили партнеры, грянули проверки. Виктору Ивановичу, во избежание суда, пришлось отсиживаться в Швейцарии, в снятом на чужое имя горном шале, и он навсегда запомнил скуку, дождь, выплывающих из тумана громадных пятнистых коров, очень похожих на карту России в бывшем его кабинете, отливавшую свинцом тропинку в ресторан. За границей Виктор Иванович потратил намного больше, чем предполагал изначально, а когда вернулся, то обнаружил, что супруга опустошила общий счет, где лежала немалая сумма на дальнейшую общую жизнь. С тех пор супруга почти не разговаривала с Виктором Ивановичем, делая вид, что он до сих пор в Европе. А Виктору Ивановичу пришлось начинать

практически с нуля.

Разоренный Падерин хватался за все: пробовал торговать недвижимостью, затеял сдавать квартиры командировочным – но предприятие, помимо воли Виктора Ивановича, быстро превратилось в бордель с большим количеством визгливых, сопливых, клоунски раскрашенных девиц, что повлекло суровый наезд обнаглевших ментов. Времена изменись категорически, прежние деловые связи рвались в руках, будто гнилые нитки. Теперь Виктор Иванович занимался – стыдно сказать – детскими игрушками, и не сетями магазинов, а самым мелким оптом, буквально на себе таская из Москвы партии товара. Благодаря полузабытому однокласснику Вовке Ишутину, выплывшему из небытия в косматой робинзоновой бородище и с вонючей сигареткой в золотых зубах, Виктор Иванович смог занять маленькую рыночную нишу: он специализировался в N-ске на «Наборах юного фокусника», всяких других волшебных чемоданчиках и прилагаемых к реквизиту иллюстрированных инструкциях.

Сам Виктор Иванович, к слову сказать, не освоил даже простейшей техники фокуса. Для него все эти плавящиеся монетки и хитрые шарики, растущие как перепонки между пальцами иллюзиониста, оставались чем-то каверзным и неприятным, способным не только некстати выпасть из рукава, а, пожалуй, и укусить. Ишутин, напротив, необычайно ловко управлялся с реквизитом, особенно ему удавались скользящие манипуляции с деньгами и картами, как игрушечными, так и настоящими. Вовка рулил бизнесом в Москве, не только поставляя товар в магазины игрушек, но и впаривая свои чемоданчики офисному люду под лихим девизом «Удиви начальника!», что иногда заканчивалось действительно большим удивлением руководителя и увольнением самодеятельного артиста. Вовка сделался удачлив, нагл, зубы вставил белые с синевой, бороду сбрил, открыв узкую щучью морду проходимца. Первоначальная теплота от встречи одноклассников рассеялась, и Вовка жал из Виктора Ивановича соки, сбрасывая на него все коммерческие риски.

Собственно, сейчас Виктор Иванович ехал в Москву объясняться с Ишутиным. По условиям договора Виктор Иванович сделал полную оплату через месяц после поставки товара, но товар не шел, более того – посыпались возвраты с претензией к качеству. И действительно, содержимое наборов из последней партии никуда не годилось. У шкатулки с потайным отделением заедала перегородка, шарики были мятые, будто полежавшие пасхальные яйца, шелковый платок, которому надлежало быть тончайшим и текучим, топорщился от грубых синтетических добавок, и даже так называемая волшебная палочка

шелушилась и красила пальцы в ядовито-зеленый цвет. Практически все деньги Виктора Ивановича оказались вложенными в эту неликвидную дрянь. По телефону Ишутин сперва матерился, популярно объясняя, что актов из зажопинских торговых точек ему недостаточно, потом предложил привезти на экспертизу набор с ненарушенной упаковкой. Такой набор обнаружился только один – он и ехал теперь в верхнем багажном отделении, занимая практически весь чемоданчик Виктора Ивановича. Падерин молился, чтобы там, внутри, в плотно запечатанной и обтянутой целлофаном нарядной фольге, все было именно так, как во всех остальных коробках злополучной партии. Однако что-то подсказывало ему, что фирменная упаковка, которую он боялся даже ковырнуть, содержит какой-то самый зловредный и невероятный фокус. Виктору Ивановичу казалось, что он везет в Москву свой нераспечатанный финансовый крах.

Между тем напряжение в купе росло. Женская пьянка достигла неизбежной стадии, когда просто есть и выпивать сделалось скучно, и празднующие дамы захотели развлечений. То одна, то другая соседка заглядывала на неприятельскую верхнюю полку и осторожно трогала якобы спящего Виктора Ивановича, как кошка трогает лапой полумертвую добычу. Собственно, Виктор Иванович принадлежал им по праву Международного женского дня, был обязан одаривать и развлекать, и дамы не понимали, почему мужчина до сих пор бесхозно лежит где-то под потолком. При этом запах шоколада сделался просто-таки неприличным, и исходил он уже не только от шапки, но и от самого Виктора Ивановича. Падерину казалось, что дамы вот-вот набросятся на него и съедят, как шоколадного зайца.

Надо было действовать, как-то спасаться. Падерин опасливо полез на дно шаткого купе и, конечно, застрял, не в силах оторваться ни от одной из точек опоры, сошедшихся в этом узком пространстве каким-то совершенно неантропоморфным образом. Разумеется, никто не поспешил Падерину на помощь. Наконец Виктор Иванович обрушился, больно ударившись необутой ступней о чей-то лежавший на боку каблукастый сапог.

– Выпить с нами не хотите? – проговорила рыжая вызывающим тоном, каким, должно быть, начинала дома семейные скандалы.

– Конечно, конечно, я через минуточку вернусь, – с наигранной веселостью ответил Виктор Иванович.

Некоторое время поборовшись с дверью, отражавшей текучим зеркалом его наждачную помятую физиономию, Виктор Иванович вывалился в коридор. Шатаясь в грохоте и качке, обжигаясь холодом заиндевелых нерабочих тамбуров, он добрел до вагона-ресторана, выдержанного в утробно-розовых тонах и пахнувшего едой. За одним столом догуливала, с трудом съезжаясь стопками, осоловелая компания, другие столы были пусты и усыпаны крошками.

– Мне три коробки шоколадного ассорти, – обратился Виктор Иванович к насупленной буфетчице, смотревшей по маленькому подвесному телевизору какой-то мультфильм.

– Все конфеты кончились, – сердито ответила буфетчица. – А вам, по-моему, хватит, – добавила она, потянув курносым носом, из-за которого ее щекастое лицо походило на кукиш.

Виктору Ивановичу сделалось обидно. Можно подумать, он был алкоголик, явившийся, воняя перегаром, за новой бутылкой. Похоже, все его сегодня принимают за шоколадного маньяка. В конце концов, какое миру дело до давних ОРСовских конфетных коробов? Виктор Иванович, кстати, не съел оттуда ни штучки, все как-то моментально рассосалось, кажется, ушло учителям, чтобы они каким-то алхимическим способом вывели из дочкиных двоек четвертные тройки.

– А пообедать я могу? – оскорбленно спросил он буфетчицу, чувствуя спазм голодного желудка.

– Осталась только яичница, – равнодушно произнесла буфетчица, косясь на телевизор.

– Почему так?

– Праздник… – Буфетчица пожала круглыми плечами и указала взглядом на компанию, собиравшую, чтобы расплатиться, тряпичные мелкие деньги.

Яичница на два глазка, которую бухнул перед Виктором Ивановичем нелюбезный официант, была суха, как осенний лист. Пережевывая соленые лохмотья, Виктор Иванович думал о дочери, которая как раз сейчас, если верить ее словам, взлетает из Шереметьево-2 – вспархивает, будто бабочка из-под протянутой

руки. А Виктору Ивановичу остается, как всегда, изнанка праздника. Вот как теперь возвращаться в купе, где сидят три захмелевшие фурии, ожидающие человеческой жертвы?

«А надо выбросить шапку», – произнес в голове Виктора Ивановича чей-то посторонний голос, настолько отчетливый, что Падерин непроизвольно потянулся к затылку, ожидая нащупать там свое второе бровастое лицо. Под ладонью не было ничего, кроме колких стриженых волос и небольшой звенящей боли, уютно угнездившейся под угловатым черепом. Виктор Иванович тихо рассмеялся. В самом деле, выкинуть эту подлую реликвию ранней перестройки, чего уж проще. На Казанском купить вязаную шапку-менингитку, в каких все теперь ходят, одинаковые, будто горошины перца. Хотя избавиться от шапки во время движения поезда не так-то просто, как показалось в первую минуту. Куда ее девать? Если сунуть в мусорный ящик, пусть даже не в своем вагоне, шапка выдаст себя специфическим запахом и изобличит Виктора Ивановича, будто труп – убийцу. Еще, пожалуй, найдется доброхот, который притащит ее обратно. Стоп! Виктор Иванович хлопнул себя по лбу, отчего небольшая боль под черепом забулькала. А ключ-трехгранка на что, господа?

Виктор Иванович двигался обратно гораздо более решительным шагом, чем час назад пробирался в ресторан. Теперь он шел по ходу поезда, и ему казалось, что поезд слегка подбрасывает его, будто сковородка горячую оладушку. Он с силой рванул упиравшуюся купейную дверь, и, видимо, было в его появлении что-то такое, отчего все три беспредельщицы замолчали и испуганно обернулись.

– Мужчина, вы чего? – с угрозой произнесла очкастая, держа перед собой, как защиту, заварочный чайник, плещущий из носика желтым кипятком.

– А все! – свирепо воскликнул Виктор Иванович, сам не понимая толком, к чему относятся его слова. Он грубо обшарил карманы своего безвольного пальто, зажал трехгранку в кулаке, сорвал с крючка благоухающую шапку и выскочил вон.

Наружная дверь нерабочего тамбура была прокалена морозом. Ее стекло, затянутое инеем толщиной с овчину, было исцарапано курильщиками и протаяно в нескольких местах – но мутно синеющие глазки уже затянула ледяная катаракта. Виктор Иванович присел перед дверью, положив злосчастную шапку

к себе на колени, но шапка сваливалась, и Падерин нахлобучил ее временно на голову. Запоры жглись, каждое прикосновение оставляло на бледном металле темное, моментально леденевшее пятно. Казалось, запоры схвачены морозом намертво, будто сварены электросваркой. «А чтоб тебя, эту дверь и трактором не вырвешь», – с досадой подумал Виктор Иванович и тяжело привстал, опираясь о дверную ручку, вдруг издавшую пронзительный металлический крик.

Распахнулось и ахнуло.

Через секунду Виктор Иванович перестал понимать, где он и что с ним происходит. Левую руку, державшую дверную ручку, едва не вырвало из плеча, ботинок скользнул и зацепился за что-то под странным углом, и Виктор Иванович повис, в грохоте и свисте, над несущейся бездной. Злая снежная пыль не давала дышать, коркой садилась на лицо, дверь под напором ветра норовила распахнуться пошире, нестерпимо раздирая руки и грудь. Оскаленный Виктор Иванович попытался подтянуться, так что от отчаянного усилия грудная кость, казалось, полезла наружу, но дверь была нечеловечески сильна, и скоро Виктор Иванович весь онемел, уже не сознавая, за что именно держится, жив он или умер. Перед его полуслепыми глазами, заплывавшими льдом, бежало в мертвой синей белизне встречное полотно. Остатком сознания Виктор Иванович подумал, что опять завис, опять попал, как муха, в невидимую паутину, но на этот раз, кажется, не вырваться. И только он окончательно смирился, как из бездны вывалился, округляясь, заливая встречные рельсы, гудящий и радужный свет.

– Девчонки, это наш! Тащи его!

Что-то мелкое и щекотное вцепилось в Виктора Ивановича, потянуло на нем залубеневший свитер. Свет расширялся и уже вбирал сознание, тело отсутствовало, рывки и визги за спиной уже никак к нему не относились. Внезапно бездна захлопнулась, обдав отчаянным гудком, застрочил, озаряя иней, встречный состав, Виктор Иванович оказался на скользком полу, в куче шевелящихся тел, и последнее, что заметил, – раздавленную пачку дамских сигарет.

Он выплыл из помрачения в купе. Кровь бухала в голове, как целое море, мышцы ломило, по коже гуляла колючая щекотка. Виктор Иванович неверной рукой провел по груди, пытаясь понять, в чем же он одет, но так и не понял, нащупав

только всё те же колкие мурашки. Что-то твердое упиралось в стиснутые зубы, живительно и сильно пахло коньяком.

– Глотаем, глотаем, вот так, умница, – приговаривал женский голос, исходивший от радужного пятна в сверкающих очках.

Тугой глоток алкоголя жаром разлился в желудке. Высосав чашку до дна, Виктор Иванович протрезвел. Он осознал, что сидит на нижней полке, раздетый до трусов и завернутый в грубое шерстяное одеяло какого-то потустороннего серого цвета. Три беспредельщицы, румяные и растрепанные, смотрели на Виктора Ивановича с жадным любопытством.

– Вот, девушки, какие мы крутые! – восхищенно воскликнула рыжая, у которой съехала на левую щеку яркая помада. – Даже восьмого марта спасаем мужиков!

В дверях купе большой суконной статуей стояла проводница, ее аккуратный ротик был сжат в красную черту.

– Ну что, очухался, прыгун? – произнесла она, заметив, что пассажир смотрит. – Сейчас вызову начальника поезда, будете, мужчина, штраф платить.

– Танька, не гунди, – властно оборвала проводницу очкастая. – Думаешь, человек от хорошей жизни хотел сигануть под встречный поезд? Лучше чаю горячего неси и еще одеял.

– Этих самоубивцев надо еще на раз убивать, чтоб неповадно было, – меланхолически прокомментировала проводница. – Шапку еще зачем-то надел – прыгать, – добавила она через плечо, удаляясь к себе.

Виктор Иванович вздрогнул и заозирался. Шапка как ни в чем не бывало лежала рядом с ним на полке, такая мокрая, будто Виктор Иванович сходил в ней под душ.

– Хорошо еще, что голова была покрыта, а то простыли бы совсем, – рассудительно проговорила молоденькая, чье круглое личико напоминало подтаявший пломбир. – А вы правда хотели под поезд? А из-за чего?

– Из-за какой-нибудь стервы вроде нас с вами, – хрипло сказала рыжая, забираясь на полку с ногами и туго натягивая на колени гладкую юбку. – Девочки, дорогие, если человек проводит праздник в поезде, значит, жизнь у него не сахар и народ вокруг него сволочь. Зачем выяснять подробности?

Глаза у Виктора Ивановича увлажнились и сразу заболели так, будто их накачивали изнутри, из кипящего мозга.

– Спа… Спа… – вылепил он непослушными губами, обметанными дрожью.

– Да пожалуйста! – рассмеялась рыжая, показывая длинные желтые зубы, похожие на щепки.

– Так, – очкастая плотно уселась на полку напротив Виктора Ивановича. – И что теперь делать будем?

– А что вы хотите? – просипел Виктор Иванович, странно теперь свободный и готовый на все.

– Мы праздновать хотим, – ответила за всех молоденькая, серьезно глядя на Виктора Ивановича дымчато-серыми мокрыми глазищами. – Женского праздника осталось… – Она раскрыла свой украшенный стразами глупенький мобильник, так ни разу за этот день не зазвонивший: – Четыре часа пятьдесят минут!

– Тогда достаньте сверху мой чемодан, – смиренно попросил Виктор Иванович. – Не бойтесь, он легкий. Только шоколада там нет, – на всякий случай добавил он, прикрывая шапку складкой одеяла.

– Ну вы и шутник, – усмехнулась рыжая, легко вскакивая на полке и дотягиваясь длинной веснушчатой рукой до ручки падеринского чемодана.

Чемодан и правда почти ничего не весил, поскольку содержал в основном коммерческий воздух. Его спустили без проблем, и Виктор Иванович, стыдясь своих неновых ссохшихся носков, составлявших единственное взятое в дорогу имущество, сам открыл заедающую молнию. Когда в его слегка дрожащих руках оказалась коробка, украшенная серебряными и малиновыми звездами и изображением лощеного цилиндра, из которого золотая палочка, искря,

выманивает опасливого зайца, – все три спасительницы зааплодировали.

– Ой, вы артист? – спросила молоденькая с детской надеждой.

– Нет, не артист, – вздохнул Виктор Иванович, придерживая на себе спадающее одеяло. – Вместе будем учиться. Ну что ж, поглядим…

Он погладил влажной ладонью ненарушенную упаковку, и сердце его точно глотнуло холодной воды. Перед внутренним взором Виктора Ивановича возникла длинная щучья морда Вовки Ишутина. Глумливые Вовкины глаза смеялись. «А катись ты!» – мысленно послал его Падерин и, приняв от рыжей маникюрные ножницы, аккуратно вскрыл.

Отошел, наполняясь зыбким воздухом, нежный целлофан, упала на пол узорная фольга, с легким сказочным звоном поднялась тисненая крышка. Так и есть. Виктор Иванович так и знал. Знакомый до боли реквизит был яркий, хорошо сработанный, и волшебная палочка даже играла мелкими золотыми искрами, чего не встречалось ни в одной из более удачных партий товара. Виктор Иванович криво улыбнулся, потом захохотал, сотрясаясь всем телом и кашляя. Теперь его поездка в Москву с одними носками в пустом чемодане становилась праздным приключением. Но Виктор Иванович чувствовал, что, вскрыв коробку для своих полупьяных спутниц, он каким-то образом победил подлого Ишутина, исчезавшего из мысленного взора, из воспоминаний и из жизни Виктора Ивановича, точно его никогда и не было.

– Покажите фокус, – завороженно прошептала молоденькая, сложив узкие ладони перед грудкой.

– Тут инструкцию надо читать, – попытался отговориться Виктор Иванович.

– Да не надо! – хором воскликнули очкастая и рыжая, отбирая у Падерина глянцевую брошюрку.

– Здесь шляпы почему-то нет, – озадаченно проговорила молоденькая, заглядывая в коробку. – А давайте вашу шапку! – и она, нисколько не стесняясь, вытащила из-под Виктора Ивановича мокрый, настырно пахнувший какао головной убор.

Вид у шапки был побитый и нахальный. Левое мятое ухо ее топорщилось, будто шапка подслушивала. Молоденькая, под смех и возгласы подружек, накрыла шапку нежнейшим шелковым платком, сиявшим теми же серебряными и малиновыми звездами, что и оберточная фольга.

– Теперь берите палочку! – скомандовала она Падерину.

– Может, вы? – засмущался Виктор Иванович.

– Но ведь это ваша палочка, – серьезным голосом произнесла девчонка, и в ее словах была какая-то глубокая логика, против которой Виктор Иванович не нашелся возразить.

От палочки по пальцам побежало веселое электричество. Виктор Иванович неуклюже поводил палочкой над шапкой, будто ложкой помешал опасное варево. Но вдруг палочка сама заиграла и выписала в воздухе замысловатый вензель. Виктор Иванович, очень удивленный, запустил руку под платок и удивился еще больше, нащупав в текучей пустоте что-то шершавое. Медленно, не веря собственным глазам, он вытянул из шапки за длинные уши громадного шоколадного зайца, никак не могущего там поместиться. Заяц, одетый в фольгу, был скуласт, татароват и очень походил на самого Виктора Ивановича, застывшего над шапкой с разинутым ртом.

– Ну ты посмотри, какой маэстро! – вскричала очкастая, громко шлепая себя по коленкам.

– А говорили, что нет шоколада! – взвизгнула молоденькая и бросилась целовать потрясенного Виктора Ивановича в колючие соленые щеки.

Празднование Международного женского дня затянулось за полночь. Двухлитровый шоколадный заяц оказался с ликером, потом проводница Танька приносила еще какие-то бутылки. Утром, на Казанском, гражданина Падерина сняли с поезда мертвецки пьяного и с двусторонним воспалением легких. Его отвезли в дежурную больничку, где никому не помогающие стены были грязно-глинистого цвета и в извилистых трещинах, похожих на древесные корни, так что больному казалось, будто он уже опущен в яму и готов к отправке. Виктор Иванович долго лечился, потом бесконечно долго мыкался, пытаясь преуспеть

там, где преуспевание было невозможно. В его жизненной истории по-прежнему было много печалей и скорбей – впрочем, как и у всех нас.

А старая норковая шапка еще долгие годы верно служила своему владельцу – и больше не пахла шоколадом.

Вещество

Все вокруг, насколько хватало глаз, было зелено, мягко, покойно, напоено полуденным солнцем. Низкий среднерусский горизонт, с залеганием по самому краю пасмурно-синих облаков, оставлял очень много места открытому небу, в котором звенел, обозначая зенит, невидимый жаворонок. Цвели корявые яблони; аисты подновляли громадные, слежавшиеся за зиму замшелыми сучьями старые гнезда; в тишайшей речке Сурогже, все норовившей заплыть от глаз под кусты, плескалась усатая крупная выдра; два городка, Горошин и Льговск, лежали между мреющими холмами, поодаль друг от друга, напоминая детские стеганые одеяльца с разбросанными по ним игрушками.

В самом центре этого дивного дня, из тех, что выпадают иногда на долю и не очень счастливой местности, ревел, разрывая реальность, багровый мираж.

Горели, дрожа и расплываясь в потоках раскаленного воздуха, опрокинутые вагоны сошедшего с рельсов товарного состава. Видимо, те же роскошные весенние дожди, что напоили и подняли всю эту цветущую зелень, подмыли полотно. Сыграли роль и паводки: снег в этом году лежал такой большой, что пассажирам железной дороги казалось, будто на месте занесенных деревенек ничего нет, только немного подкопано лопатой. Таяние было бурным; ручьи, будто гремучие цепи, изрезали склоны оврагов; тихоня Сурогжа унесла и разбила четыре рыбацкие лодки. Все это привело к тому, что тяжелый товарняк сбился на повороте с мерного шага и вздыбился, будто пьяная гармонь.

Начальник управления оперативного реагирования областного МЧС полковник Забелин получил сообщение о сходе состава через полчаса после происшествия. Ситуацию, конечно, нельзя было назвать рядовой, но и на большую катастрофу

она не тянула. Горели всего четыре вагона из пятидесяти восьми. Сначала выломились, со страшным скулежом искривленного металла, первые три, потом туда же косо потрюхала, увязая колесными парами в травянистом скате, цистерна бензина, именно она и вспыхнула. На место выехали пожарный поезд, два ремонтно-восстановительных поезда и две бригады спасателей. По счастью, обошлось без человеческих жертв. Сильнее всего пострадал сопровождающий военного, опять-таки, по счастью, не взрывчатого, груза, горевшего как-то неохотно, попыхивая и сопя, словно засыпая. У сопровождающего был открытый перелом правой руки и сотрясение мозга.

Полковник Забелин Геннадий Андреевич видел за годы службы всякие виды. Видел он лесные пожары в Забайкалье, катившиеся огненной стеной, за секунду слизывая гигантские пихты; видел сходы снежных лавин на Памире, невинно похожие на убежавшее молоко, но с пушечным громом поглощавшие поселки. Полковник Забелин редко волновался. Внутри у него был как будто встроен стабилизатор, низкий центр тяжести, не дававший даже покачнуться; в экстремальных ситуациях только ноги полковника тяжелели, а голова оставалась ясной, словно вознесенной над облаками.

При этом внешность у Геннадия Андреевича была никакой не героической, а даже скорее карикатурной. Крестьянский сын, пятый ребенок в семье, где и у отца, и у матери было по множеству братьев и сестер со своими детьми, Геннадий Андреевич был словно сделан из вторичного материала. Толстый пористый нос был дедов, небольшие глаза цвета позеленевших медных пуговиц принадлежали дяде Николаю, сухой рыжеватый волос – тетке Наталье, мелкие чечевичные родинки, усыпавшие плотное тело полковника, все целиком достались от матери, рано умершей. Всё, из чего состоял Геннадий Андреевич, кто-то до него уже носил, части были грубо, но крепко сшиты, и полковник, не будучи красавцем, никогда не жаловался на здоровье. Родом он был из городка Горошина; когда после девятнадцати лет службы в Забайкалье и Сибири ему удалось перевестись на малую родину, Геннадий Андреевич почувствовал умиротворение. Кроткий нрав природы и отсутствие глобальных техногенных факторов в этих бедных краях обещали полковнику мирную служебную рутину и достойный выход в отставку. И сейчас, отдавая штатные распоряжения, полковник был уверен, что пожар четырех вагонов максимум способен отравить продуктами горения сотню-другую полевых мышей.

Через час он уже так не думал. Геннадий Андреевич сидел в вертолете, несущем его в Горошин, и видел будто сквозь прозрачную зыбь зеркальные петельки

Сурогжи, сошедшие с путей цистерны размером с электрические батарейки и маленький красный костерок, пускающий в небо дымную нить. Полковник Забелин получил приказ срочно организовать в Горошине штаб по ликвидации последствий катастрофы. Также он получил распоряжение своего командира, генерал-майора Аверинцева, принять в штабе гражданское лицо, которое не предъявит никаких документов и представится Иваном Ивановичем Ивановым, и оказывать данному лицу всемерное содействие. Распоряжение было отдано устно при закрытых дверях, и вид у генерал-майора был такой, точно его с ужасной силой огрели чем-то плоским по сутулой стариковской спине. Должно быть, вид полковника, ступившего из вертолета на родной, набухающий жизнью горошинский чернозем, был нисколько не лучше; ноги Геннадия Андреевича были тяжелы, будто у каменной статуи.

Под штаб срочно реквизировали здание Первой горошинской гимназии, выходящее длинным краснокирпичным фасадом на главную площадь, мощенную истертым булыжником. В кабинете директора, возле высоченного тусклого окна, прибывшего полковника уже ожидал человек. Одного взгляда на него полковнику было достаточно, чтобы понять: это он, тот самый.

– Иванов, Иван Иванович, – сухо отрекомендовался гражданский, протягивая для пожатия ладонь, поросшую с тыла редкими волосками, а изнутри удивительно белую, словно светившуюся пятном. – Я представляю грузоотправителя возгоревшегося разрядного груза. Большего вам знать обо мне не следует.

Полковник Забелин с силой сдавил протянутый ему предмет. На узком лице Иванова не отразилось ровно ничего. Он был странен, этот так называемый Иван Иванович. Длинный, худой, в недорогом поношенном костюме и в серой рубашке с курчавой ниткой вместо верхней пуговицы, он, казалось, был задуман и создан для того, чтобы на его лысоватой пятнистой голове расцвели эти необыкновенные уши. Тонкие, полупрозрачные, мрамористые, устроенные на сложном каркасе, эти уши могли бы принадлежать сказочному розовому слону.

– Что я должен знать о вашем грузе? – неприязненно спросил полковник, стараясь не смотреть на рдеющее чудо природы.

– Пожар нельзя гасить ни водой, ни порошком, только пеной, – быстро ответил Иванов и глянул на полковника так, что у Геннадия Андреевича прошел по хребту холодок.

Вызвав по рации пожарный поезд и выяснив, что пену уже подвезли, полковник Забелин занял обитый потертой стеганой кожей директорский трон, а Иванову указал на стул, где обычно сидели вызванные для разноса учащиеся, где пацаном сиживал он сам, с тоской рассматривая синие обои и заманчивые, как пряники, печные изразцы.

– Груз, назовем его вещество, сам по себе абсолютно неопасен, – начал Иванов лекторским тоном, выдававшим в нем обыкновенного препода. – Вещество неагрессивно, не взрывается, горит едва-едва, во всех смыслах инертно. Но! – тут Иванов поднял вертикально вверх сухой, словно обглоданный, указательный палец. – В соседнем с веществом вагоне, тоже возгоревшемся, везли свинцовые чушки. Пары вещества вступают в реакцию с парами свинца и дают соединение чрезвычайно токсичное. Оно обладает зверской валентностью, поражает нервную систему человека и млекопитающих, а для многих видов насекомых служит мутагенным фактором. Соединение распространяется по воздуху, через грунтовые воды, а главное – через мух и комаров, которых здесь скоро будут тучи. В общем… – Иванов глянул на полковника полными простого человеческого страдания прозрачными глазами. – Картина такая, что через четыре месяца здесь не останется ничего живого.

Полковник вытаращился, не чуя в стиснутых кулаках резных подлокотников. За окном сливовое деревце стояло в таком густом и плотном цвету, что каждая ветка была будто пломбир на палочке. Вот так сходят с ума, подумал полковник, встряхивая головой.

– Какова зона бедствия? – спросил он хрипло.

– Сегодня трудно сказать, – болезненно поморщился Иванов. – Насекомые-мутанты активно размножаются, но долго не живут. Многое будет зависеть от силы и направления ветров, количества дождей. В любом случае это несколько тысяч квадратных километров. Но скорее всего, весь центр и юг России будут повреждены.

– Надолго? – спросил полковник Забелин, совершенно пустой внутри.

– Лет на двести – двести пятьдесят.

Тут впервые за все годы трудной службы, вообще впервые за жизнь, полковник Забелин ощутил желание убить человека. Это было физическое чувство, похожее на тягу к женщине: полковник с вожделением смотрел на хрупкий подвижный кадык этого Иванова, на его тонкокожий и тонкокостный череп, который сомнется, как яичная скорлупа, если этак славно хрястнуть по нему мраморным пресс-папье.

– Значит, неопасный груз… – прорычал полковник, сдерживаясь. – Но вы обязаны были указать в сопроводительных документах, что его нельзя со свинцом!

– Если бы я в открытом документе расписал все, что не должно при транспортировке происходить с нашим грузом, это натолкнуло бы вероятного противника на формулу вещества, – с достоинством ответил Иванов. – А формула составляет государственную тайну.

– Так и перевозили бы свои вещества на самолетах, специальными рейсами! Почему вы этого не делаете?

– Потому же, почему я не остановился в вашем областном центре в отеле «Плаза», – невозмутимо парировал Иванов, закидывая ногу на ногу и демонстрируя стоптанный башмак.

Полковник Забелин Геннадий Андреевич привык действовать. Эта привычка спасала его сейчас, когда делать что-либо было почти бесполезно. Оглушенный, с носом как баклажан, он толково руководил вверенными ему людьми и техникой, толково взаимодействовал с начальством из Управления дороги, поставившим штабной вагон в одном из тупичков разбуженной от пыльной дремы горошинской станции. Уже на другое утро силами железнодорожников и собранных со всех окрестностей пяти пожарных расчетов огонь был потушен. Теперь место возгорания представляло собой громадную скользкую гору оплывающей пены, как если бы облако из своей воздушной стихии выбросилось на сушу и умирало, разлагалось с тихим шепотом под прямыми лучами ясного солнца. От пенной горы расплывалось по почве, по траве мокрое пятно, образуя жирное болотце; как только пенная туша оседала до видимых очертаний сгоревших вагонов, пожарные добавляли к серому осадку сливочно-свежую верхушку.

День и ночь восстановительные поезда растаскивали, будто дохлую гусеницу, упершийся колесами в хаос грузовой состав. Краны движениями богомолов ставили на рельсы пустые, высосанные досуха цистерны; полый грохот и лязг разносился по всей округе. На место катастрофы прибыла рота химзащиты, прилетели специалисты МЧС из Москвы. Ждали министра. Тем временем подтянулась и серая команда господина Иванова. Чем-то неуловимо похожие на крыс, разработчики вещества заняли все левое крыло гимназии и развернули там свои лаборатории. Ни у одного из этих людей, одетых, как и Иванов, в поношенные, лоснящиеся на локтях штатские костюмчики, не было при себе документов, удостоверяющих личность. Полковник Забелин подозревал, что даже на одежде секретных разработчиков, никогда не улыбавшихся крепко сжатыми, словно заклеенными, ртами, отсутствуют метки производителей.

И подчиненные полковнику специалисты, и серые, подчиненные только господину Иванову, неустанно брали пробы воздуха, воды и почвы, баламутили Сурогжу, лезли в огороды, проходили, как саперы, подернутые зеленью сизые поля. Самое интересное – полковник Забелин понятия не имел, что именно следует искать. «Когда обнаружите, сразу все поймете», – сообщил бессонный и помятый Иван Иванович, тоже корпевший, в окружении своих Ивановых, над анализами проб. Налитый до самой лысой макушки своей секретностью и словно запечатанный сверху большим, сургучного цвета, родимым пятном, Иванов был исполнен решимости не выпустить сквозь зубы ни единой молекулы информации, держать всё в себе до последней возможности. Анализы между тем не показывали ничего, кроме остаточных пестицидов. Это сильно действовало полковнику Забелину на нервы. Он не знал, что говорить журналистам, налетевшим из области и из обеих столиц, напоминавшим со своими телекамерами назойливых, здоровенных, мутировавших комаров. Релиз, обнародованный пресс-службой МЧС, представлял собой такую невнятицу, что полковник еле выучил полтора десятка обтекаемых фраз.

Самой главной задачей была немедленная эвакуация жителей Горошина, Льговска и еще пятнадцати населенных пунктов. По горбатым улочкам обоих городков без конца колесили МЧСовские «нивы» с мегафонами на крышах, оглашая окрестности лающим оповещением; им отвечали из-за заборов косолапые, с ватной шерстью, местные собаки. На главной площади Горошина, взяв в квадрат черненький, точно облитый дегтем, памятник Ленину, пылились и раскалялись под солнцем пустые автобусы. Городки затаились. Окна вросших в косогоры частных домишек и стоявших вкривь и вкось пятиэтажных хрущевок были задернуты изнутри белесыми занавесками, точно везде и разом кончился какой-то фильм. Никто не ходил открыто по узким, разрушаемым травой

тротуарам – обитатели пробирались задами, двориками, дровяными лабиринтами, которых и в Горошине, и в Льговске имелось великое множество. С самого момента объявления эвакуации местных жителей можно было видеть только издалека: то протарахтит по рыжей полевой дороге мотоцикл с коляской, то обрисуется в укромном речном изгибе неподвижный рыбак, ловящий удочкой, словно антенной, медленные токи обреченной воды. Чаще всего горошинцы и льговцы визуально фиксировались на своих безразмерных огородах, где они занимались самым бесполезным в сложившейся ситуации делом: посадкой картошки.

В первый день эвакуации из Горошина удалось отправить только один автобус: уехали собранные через детскую поликлинику, зареванные мамаши с грудничками. На следующий день в Горошин и Льговск для помощи в эвакуации прибыли на трех десятках грузовых «Уралов» солдатики внутренних войск. Командование военного округа, получившее по своим каналам чрезвычайную информацию, отреагировало сообразно своему разумению: придало вэвэшникам для усиления танковую роту. Колыхаясь на косогорах броневыми чадными блинами, раскаленные Т-80 распирали собой узкие улочки, стесывали углы беленых низеньких строений позапрошлого века, мололи в сок молодую зелень, валили ларьки. Грозные, но совершенно бессильные перед незримо расплывающейся в воздухе заразой, танки были слышны по всей округе, собиравшей звуки, точно капли в чашку. Солдатики, молоденькие первогодки в потном хэбэ, похожие в респираторах на детишек, наряженных на елку ежиками и мышами, колотили во все ворота, рассыпа?лись по подъездам хрущевок, вытаскивали гражданское население полуодетым, с комьями пожиток, волокли обвисавших старух. К вечеру удалось кое-как, с плачем и матюгами, отправить еще десяток автобусов. Пылящие густой медовой пылью, переваливающиеся с холма на холм, эти автобусы долго были видны на низкой местности, словно держащей всю себя и всё свое на ладони, бесконечно продлевающей собственное прошлое, но уже обреченной исчезнуть. Отвлечешься, займешься делами, потом нечаянно глянешь – а эти автобусы всё еще здесь.

Полковник Забелин через каждые два часа вызывал по рации командира роты химзащиты капитана Нестеренко.

– Ну что, нашли что-нибудь? – спрашивал он без предисловий.

– Никак нет, товарищ полковник! – бодро рапортовал Нестеренко, но в этой бодрости слышались растерянность и злость.

Непохоже было, что Иванов Иван Иванович водит эмчээсников за нос. Он сильно измочалился за последние дни, его удивительные прозрачные уши увяли и стали похожи на тряпки. Иванов со своими серыми копался в самом очаге, возле непрерывно подновляемой пенной горы; когда он, пройдя через жесткий, как миксер, дезинфицирующий душ, стягивал с себя защитный комбинезон, внутри канареечно-желтой резины тоже хлюпала вода.

– У меня нет ответов на ваши вопросы! – кричал он, едва завидев полковника Забелина.

Между тем полковник чувствовал, что между ним и Ивановым установилась невидимая связь, какая бывает между влюбленными. Геннадий Андреевич каким-то образом ощущал, далеко или близко находится Иванов и в какой стороне. Утро полковника Забелина начиналось с мысли, что сегодня он непременно и несколько раз встретит Иванова. То был род вожделения, жгучего сосредоточения на малокровной потаенной жизни, циркулирующей под тонкой, ссохшейся мелкими морщинками кожей секретного разработчика. Геннадий Андреевич его хотел. Убить. И по-настоящему не видел причины, почему бы ему не утолить эту страстную жажду.

Сперва, конечно, разум полковника противился. Но Иванов уже сыграл слишком большую роль в судьбе Геннадия Андреевича Забелина, чтобы не стать окончательно человеком его судьбы. Геннадий Андреевич не мог вообразить своего доживания с этим мертвым пятном на месте дымчатых, переложенных кудрявыми перелесками среднерусских холмов, где он родился и вырос. Вся остальная большая Россия, со всей ее тайгой, со всеми реками, горами, городами, не сможет заполнить пустоту, а скорее сама в нее рухнет. Геннадий Андреевич видел весь остальной мир запекшейся кромкой этого пятна. Жить на кромке, на краю, он понимал, будет невозможно. Скоро всё здесь засохнет, покроется ядовитой коростой, и никакого человеческого долголетия не хватит, чтобы дождаться первого зеленого ростка. И ведь только полковник Забелин устроился. Только получил хорошую квартиру, прикрепил жену к хорошей поликлинике. Теперь все пропало. Все переменилось настолько, что сделаться еще и убийцей стало совсем несложно.

В отличие от солдатиков и их командиров, Геннадий Андреевич хорошо понимал, почему горошинцы и льговцы не спешат в автобусы. Здесь испокон веков было устроено так, что человеку не хватало внутренних сил на свою отдельную жизнь – зато все внешнее, холмистое, пологое, смиренно цветущее, входило в него и восполняло недостаток собственных токов бытия. Лишившись этой подмоги, местный житель просто не умел вместить душой каких-то других пейзажей и обстоятельств существования. Жизнь горошинцев и льговцев, с ее безденежьем, старыми телевизорами, кривой полусъеденной посудой, дощатыми удобствами на покатых огородах, вовсе не была завидна. Но, лишившись своего, местный житель оказывался настолько беззащитен, что предпочитал теперь оставаться на месте с последней и всегдашней верой в ошибку начальства.

Полковник Забелин, повидавший и послуживший, мало чем отличался в этом смысле от своих земляков. В его голове, бесформенной, точно битой изнутри кулаком, как выбивают, чтобы надеть, старые шапки, без конца прокручивалась схема, уже автоматически включавшаяся от малейшего толчка. Полковник с болезненной отчетливостью представлял, как вагон с веществом, отправленный из-под Новосибирска, и вагон свинца, отгруженного Краснокурьинским метзаводом, неумолимо сходятся через пять сортировочных станций, как они движутся в одном составе, как они переворачиваются, и именно к ним же сползает стоявшая почти в хвосте состава, учинившая в итоге пожар цистерна бензина. Та часть железной дороги, по которой стянулись в роковую точку ингредиенты катастрофы, вероятно, закрепилась в мозгу полковника в виде отдельной нейронной цепи.

Геннадий Андреевич понимал, что вины железнодорожников не было никакой и что полотно подмыло объективно. И все-таки в этом стечении, стягивании было что-то настолько невероятное, что, если бы на месте схода вагонов нашли остатки взрывного устройства, полковнику было бы легче. Так, по крайней мере, обнаружились бы признаки умысла, человеческой воли. Полковник Забелин знал, что почти во всякой катастрофе несколько обстоятельств сходятся один к одному, иногда бывает и смех, и грех, и задним числом мерещится, будто все было сделано умышленно. Выясняется: вот здесь бы полметра влево, здесь бы не потянуло ветерком, здесь бы не коротнуло провода – и ничего бы не случилось. Но будто какой-то режиссер всегда управляет такими событиями, и полковник Забелин всю жизнь хотел узнать фамилию этого режиссера и поступить с ним по строгости закона. Сейчас, однако, он обращался к бесфамильному режиссеру заискивающе, мысленно просил того как-нибудь задним числом ошибиться и сам был готов подсказать вероятную точку ошибки, но не видел где. С точки зрения рока катастрофа была устроена безупречно. От этого у Геннадия Андреевича

тихо слабели коленки.

Но факт, что полковник Забелин родился и вырос в Горошине, давал ему на этом театре некоторые оперативные преимущества. Геннадий Андреевич знал один укромный овражек, буквально в семи минутах хода от главной площади. Густо заросший лещиной, с дрожащим бурым ручейком под низкими ветками, овражек не выпускал из себя ни единого звука, а лепившиеся здесь же старые дровенники, относившиеся к давно снесенному барачному жилью, идеально годились для того, чтобы спрятать тело. Полковник Забелин сильно рассчитывал на неразбериху, неизбежную при тотальной эвакуации, ну а потом, когда на Горошин, зудя мушиной тучей, опустится смерть, лишний комплект человеческих косточек, гниющих за сопревшей поленницей, уже ни у кого не вызовет вопросов.

Полковник Забелин, дыша со свистом, топал каменными ногами по безлюдным улицам Горошина. Здесь все было так близко, будто в комнатах дома, что пользоваться приданным лично полковнику внедорожником «сузуки» не имело смысла. По инструкции, личному составу давно полагалось передвигаться по зоне заражения в защитных костюмах. Но Геннадий Андреевич, поносив хляпающую желтую резину, почувствовав себя тяжелой жабой, запихал костюм за книжный директорский шкаф. По своему городку он предпочитал ходить не одним из резиновых марсиан, а открытым, таким, каков есть, и даже респиратор содрал с потного лица и запихал в карман, откуда торчали, будто лямки бабского лифчика, резиновые завязки. Покрасневшие глаза полковника Забелина угрюмо скользили по деревянному, в черной резьбе фасаду Дома пионеров, где он пацаном клеил модели самолетов, по обкрошенным танками до мясного кирпича и оттого похожим на свиные туши колоннам кинотеатра «Рассвет», по узловатой старой акации, из стручков которой было так славно делать хриплые пикульки. В уши лез тяжелый, жирный лязг танковых гусениц; на асфальте то и дело попадались разбитые чемоданы, ноги путались в затоптанном тряпье, которое никто не подбирал. Провожаемый косыми отсветами задернутых окон, полковник Забелин чувствовал себя оккупантом.

Прежде чем назначить Иванову свидание в овраге, Геннадий Андреевич должен был решить еще один, сугубо личный вопрос. В Горошине из своих у него оставались тетка Наталья – та самая, рыжая, теперь уже совсем седая баба с большими, как сухари, желтыми пятнами на плоском лице, – и брат-старик, Андрей Андреевич Забелин, самый старший и самый сердитый из всех пяти

братьев. Надо было отправить их в Забайкалье, куда уже улетела супруга, а до того определить хотя бы в палаточный лагерь, развернутый в соседней области.

В подъезде у тетки Натальи было черно и глухо, будто в остывшей печке. Никто не ответил на слабое дребезжание звонка. Геннадий Андреевич побухал кулаком в обитую клеенкой хилую дверь. От его ударов тишина за дверью напряглась, точно ее, как мяч, накачали насосом. Невозможно было определить, есть ли в квартире кто-нибудь живой. Помотав головой, полковник Забелин скатился по щербатым ступенькам и побежал через улицу к дому брата, знакомо зеленевшему железной кровлей между двух похожих на растрепанные метлы пирамидальных тополей.

Брат Андрей Андреевич сидел на веранде в неглаженой белой рубахе и чистых кальсонах, его косая борода издалека напоминала гусиное крыло. На коленях у Андрея Андреевича лоснилась горбатая, еще отцовская, тульская двустволка.

– Стой! Дальше не ходи! – сипло выкрикнул брат, вскидывая ружье.

– Это я, Андрюха, не стреляй! – отозвался Геннадий Андреевич, на всякий случай отступая за угол сараюшки.

– Генка, ты, что ли? – вгляделся из-под нависающих бровей вооруженный старик. – Ну подымайся, раз пришел, – разрешил он, нехотя отставляя двустволку.

Геннадий Андреевич поднялся на шелушащееся краской высокое крыльцо. Брата он не видел лет пять, после перевода всё не получалось заехать, принимал дела, то да се. Брат подсох, из-за бурого сельского загара, не сходившего и зимами, он как будто проржавел. Андрей Андреевич тоже состоял из ношеных частей, и если полковнику, как младшему, все доставалось больше по материнской линии, то старший наследовал по отцовской. Все отцовское, хоть и ржавое, было еще целым и крепким; рука, лежавшая на столе, напоминала звено тракторной гусеницы, забитое землей.

– Ты, Генка, смотрю, потолстел. Ну садись, – насмешливо пригласил старик.

Геннадий Андреевич огляделся. Всюду на рассохшихся стульях темнела слежавшаяся одежда, стояли покрытые горелой коркой сковороды и чугунки. На

столе перед братом мутнела наполовину опорожненная трехлитровая банка самогона. Андрей Андреевич вытряхнул из серого граненого стакана какой-то растительный сор и налил брату с горбом. Полковник Забелин расчистил себе место на лавке, сел, принял в четыре глотка всю тяжесть стакана, и самогон в банке заиграл, зазмеился, стал показывать, будто гадальный шар, разные странные картинки.

– Ты капустой закусывай, капуста у меня, что яблоко, сладкая, – Андрей Андреевич придвинул полковнику миску с квашениной.

Капуста, курчавая и ледяная, и правда оказалась хороша. Полковник закусил, пришел в себя, веранда со всем содержимым встала на место.

– Не знаешь, где тетка Наталья? – спросил он, берясь за хлеб.

– У дочки гостит, у Людки, в Челябинске, – охотно отозвался брат, и по этой охотности полковник заподозрил, что Андрюха врет.

– Сам-то чего не уезжаешь? – продолжил он допрос, глядя исподлобья.

– Так говорят, учения у вас, – произнес Андрей Андреевич равнодушно. – А мне некогда с вами играться, дела у меня, – тут он невольно скосился на самогон, и полковник догадался, что такими же точно делами по горло заняты все затаившиеся в Горошине мужики.

– Если бы ученья, я бы что, пришел за тобой? – зыркнул полковник на брата. – Нет, Андрюха, не учения. Не пей больше и слушай…

Направляясь к брату-старику, полковник прикидывал, сколько правды сможет рассказать. А теперь взял да и выложил все. Пока он говорил, Андрей Андреевич ерзал на своем табурете и тихо матерился. Со двора приплелся и тушей развалился в ногах пыльный пес местной дворняжьей породы: такой же точно, тупомордый и ватный, похожий на медведя, был у Андрюхи в прежние годы, звали его, кажется, Варяг, а клички этого кобеля полковник не знал. Во дворе, в цветущем пуховыми белыми шапками кусте бузины, залился, запустил вощеные трели знаменитый местный соловей. Самого певца не было видно, но там, где он угадывался, в молодой упругой листве словно стригло ножницами. Птица, которой полагалось уже сомлеть от отравы, была нахально жива, резва и голос

имела такой, что иногда глушила, будто вражескую радиостанцию, рассказ полковника.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/slavnikova_ol-ga/lyubov-v-sed-mom-vagone

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить